

А. К. СЕКАЦКИЙ*

ЧТО ЗНАЧИТ «КАК ВО СНЕ»?

Аннотация: Предлагается новый взгляд на структуру бодрствования и, соответственно, иной возможный тип соотношения между реальным и воображаемым. В качестве общей прародины сновидений, одержимостей и непоколебимой уверенности в истине рассматривается онейрическое (онейрическое сознание), которое и обеспечивает изначальную диктатуру символического. В дальнейшем эта диктатура претерпевает катастрофу: с одной стороны, онейрическое отнимается от подключенности к моторике и сенсорике, становится «просто сном». С другой стороны — вторжение речи, и прежде всего, в плане сомнения и обсуждения, аннулирует прямую данность онейрического. И все же апелляция к онейрическому сохраняется не только в сновидении, но и в искусстве, прежде всего в кино — некоторые вытекающие отсюда проблемы также рассматриваются в статье.

Ключевые слова: сон, кинематограф, онейрическое, реальность как проблема, статус сомнения, воля к обсуждению, природа истины.

A. K. SEKATSKI

WHAT DOES «LIKE IN A DREAM» MEAN?

Annotation: A new view of the structure of wakefulness is proposed, and, accordingly, a different possible type of relationship between the real and the imaginary. The oneiric (oneiric consciousness) is considered as the common ancestral home of dreams, obsessions, and unshakeable confidence in the truth, which provides the original dictatorship of the symbolic. In the future, this dictatorship undergoes a catastrophe: on the one hand, the oneiric is taken away from the connection to motor and sensory systems, it becomes «just a dream». On the other hand, the intrusion of speech, and above all

* Секацкий Александр Куприянович, кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет аэрокосмического приборостроения.

in terms of doubt and discussion, cancels the direct datum of the oneiric. Yet the appeal to the oneiric persists not only in dreams, but also in art, especially in cinema — some of the problems that follow from this are also discussed in the article.

Key words: dream, cinema, oneiric, reality as a problem, the status of doubt, speech as a will to discuss, the nature of truth.

ЯКОБЫ СОН

Рассматривать сон как некие остатки бодрствования — дело привычное. Так, при всех различиях в подходах, это допущение принимают по умолчанию и Фрейд, и последний бихевиорист. Между прочим, это значит, что всякая остаточная причастность ко сну — сонливость, грезы, перемежающиеся видения и прочее, наносит ущерб сознанию. Но вот что пишет Юрий Оленев в своей дипломной работе: «Поистине, все люди спят и видят сны наяву, когда уверены, что занимаются абсолютно тождественными себе истинами разума или абсолютно достоверными предметами чувственного опыта. Не потому, что они таковыми не являются, а потому что сам Разум, занимающийся ими достаточно долго, проникается уверенностью, что полностью соответствует им, теряя свою иррациональную составляющую. И иррациональное начало неизбежно вклинивается и проникает как в саму форму тождественности имманентного положительного знания, так и противостоит ему знаком вопроса, фигурой неопределенности, так и не достигнутой вещью в себе, оставшейся неопознанной»¹.

Попробуем развернуть и переосмыслить это весьма проницательное наблюдение. Итак, разум именно тогда, когда он принудительно следует некой имманентной логике, а не когда пребывает в рассеянии (типа в полудреме), реализует программу *онейрического сознания*, включающего в себя и сновидческие состояния. То есть получается, что истина как ясный свет среди тьмы, так сказать, в своей чувственно-сверхчувственной модальности отсылает к онейрическому сознанию, а тем самым и к сновидению. Тут уместно спросить: так ли это, а если да, то почему?

А вот почему. Сам по себе здравый смысл как *common sense* характеризуется разнородностью и некоторой свободой перемещений вдоль и поперек «картинки». В нем нет никакой навязчивости, можно в равной мере увлечься

и отвлекаться, предаваться неполной индукции и нестрогой дедукции, не настаивая при этом на непогрешимости того и другого. Вот что противоположно сновидению. Ведь сон *заставляет* следовать за собой, безоговорочно соглашаться, принудительно принимать к сведению *предъявляемое* как бы против своей воли. И если мы теперь спросим: а что же соответствует в реальности именно этим характеристикам, нам придется признать, что больше всего на них похожи структуры *a priori*, которые «не обсуждаются», похожа истина, когда она дана в качестве непреложной, непререкаемой истины. Ведь сон не обсуждается, пока он снится, и это далеко не последняя его характерная черта, — такова же, в этом смысле, и «железная логика», но не нормальной (нормативной) науки, а как раз высокой метафизики, того, что Оленев удачно назвал «абсолютно тождественными себе истинами разума». Железо этой железной логики не ржавеет — этим-то оно и подозрительно.

Конечно, сходство в ряде моментов, пусть даже и важнейших, еще не означает родства. И все-таки Декарт в своем важнейшем аргументе *cogito ergo sum* не зря все время беспокоится: «А может, я сплю?». Выискивая и приводя самые достоверные аргументы собственного существования, Декарт так и не указал на ту линию, за которой сама степень достоверности аргументов уж точно исключает состояние сна. Кажется, он подозревал или впервые заподозрил, что самое что ни на есть бодрствующее бодрствование отличается от «сна наяву» отнюдь не непреложностью истин — непреложностью, с которой ничего нельзя поделаться, — и Спиноза, увы, не усмотрел эту тонкость, — а еще и «сомнениями». То есть бодрствование происходит в непрерывной ауре обсуждаемости и, так сказать, «сомневаемости», чего как раз и не бывает во сне, даже во сне наяву. Декартовские сомнения потому и не являются упреком Богу, даже когда Декарт констатирует, что «наш разум любит обманываться», он если и выражает сожаления на сей счет, то более тонкого порядка.

Выходит, что обманываться, обсуждать и снова обманываться — это как в поте лица добывать хлеб свой. Сомнения имеют тот же статус, что и труд: без труда не вынешь и рыбку из пруда, а без работы сомнения не утвердишься в познании реальности. Притом, что несомненные истины будут посещать нас как сны наяву, но будут при этом представительством *просто снов*, тех самых, которые принудительно достоверны и не обсуждаются, пока снятся. Стало быть, интенсивность *ego cogito* имеет как минимум двойную направленность: во-первых, направление отыскания такого несомненного, которое

гарантировало бы некий минимум достоверности даже самому скептическому синтезу, и, во-вторых, направление интенсивности самого сомнения, которое должно активироваться всякий раз, когда мы смещаемся с маленькой освещенной площадки. Если не будет выполнено это второе условие, над нами сомкнется царство онейрического разума (точнее, онейрических состояний или просто онейрического), которое как раз непреложно, несомненно и всем хорошо — за исключением того, что в нем никаких способов отличить просветление от наваждения.

А это означает человеческую исторгнутость не только из рая божественной невинности, но и из сферы божественной истины, которая ни с чем не делит своей модальности и которую ни с чем невозможно спутать. Разве что в этом и может заключаться упрек за то, что разум любит обманываться — но ведь это его единственный шанс не обмануться, избежать сна наяву...

Вот и летучая мышь «любит» издавать непрерывные сигналы в ультразвуковом диапазоне: не удивительно, ведь мир предстает перед ней только в эхолокации как собственный отраженный сигнал. Как только зов (вызов) прекратится, мир погрузится во тьму. А если наш разум перестанет сомневаться, мир погрузится в неразличимость, и ясный свет истины уже нельзя будет отличить от принудительности сновидения — и что с того, что это будет сон наяву? Но подойдем к вопросу в другой стороны.

Возвращаясь к персику в отсутствие персика

Онейрическая родина сознания приводит нас в пещеру — но не в ту, узники которой, согласно Платону, созерцают тени, что обостряет проблему детекции внешнего мира, а в ту, где трансляция сочного персика (которого в данный момент нет) перекрыла обитателям всю реальность, так что для них не очень-то и важна разница между тенями с непонятным статусом и тем, что *просто есть*, например, ореховыми скорлупками на полу, снующими мышками и прочим ассортиментом ближайшего окружения.

Признаем, что *персик в отсутствие персика* является прародиной имманентного порядка истины. А что еще, не скорлупки же? В этой онейрической данности есть уже все важнейшие атрибуты: ясность и отчетливость, доходящая до того, что никакое шуршание скорлупок под ногами не в силах

внести искажение в принудительность трансляции, в устойчивость картинки. Есть и чувственная составляющая озарения — но ни о каком *cogito* нет и речи, в частности потому, что совершенно не отрефлексированы соотношения между субъектом бодрствования и тем субъектом, которому снится сон. И препятствием дифференциации является именно необсуждаемость (непреложность) трансляции, отсутствие обратной связи. Но путь к *ego cogito* лежит только через катастрофу онейрического сознания. Ее детали пока совершенно не понятны, но суть в том, что персик в отсутствие персика вдруг отключается, как бы обесточивается почти на всем своем протяжении — за исключением привилегированного топоса физической обездвиженности тела, то есть состояния, которое называется сон. Онейрическое сознание с его ясностью и отчетливостью (хотя оно, конечно, не совсем сознание), с его способностью напрочь перекрывать всю прочую видимость, вдруг изымается из бодрствования, из деятельной жизни, на долю которой достаются тогда преимущественно комбинации скорлупок, следов, теней и, конечно, прежде всего, слов — слышимой и ждущей ответа речи. То есть в сон перемещается почти все, за исключением «оставшихся представительств», не погружившихся в океан сновидений: они-то и отвечают теперь за чувственное наполнение ясного света истины и обычно описываются как максимум бодрствования и ясности ума, хотя являются трансляциями из общей онейрической прародины и сна, и бодрствования (принципа наслаждения, согласно Фрейд), максимально же удаленными от этой прародины предстают теперь фигуры *сom-top sense*, и прежде всего речь, которая по сути своей есть всегда сомнение, обсуждение и обсуждаемость. Будем иметь в виду, что сон не обсуждаем в момент его трансляции, как и онейрическое в целом, имеет ли оно характер всеохватности или стойкой галлюцинации.

Катастрофа онейрического сознания была катастрофой для него, для этого сознания — *для меня же она была спасением и благом*. Да и по сей день переход к измененным состояниям сознания, к видениям и галлюцинациям сопровождается отсоединением от деятельной жизни. Процессы такого рода являются регрессиями и отсылают к до-катастрофической маниакальной трансляции персика в отсутствие персика с редкими вкраплениями фона в виде скорлупок, шелухи и всего, путающегося под ногами. Кто бы тогда мог подумать, что *путающееся под ногами* и станет эйдосом всей последующей, пост-катастрофической реальности... «Компоненты» оказались разведены

по разным углам: персик одержимости был затоплен в океане, где его ве- щая сила оказалась парализованной, ну а за сопутствующими аксессуарами и была зарезервирована реальность — с некоторыми просветами.

Страшно даже представить, что было бы, случись все наоборот: если бы онейрическую прародину психики не постигла бы катастрофа, приведшая к рождению вменяемости. Впрочем, мания и параноя как модусы безумия как раз и дают примеры другого перераспределения затопленного и остав- шегося на плаву. Возможно, что каждый, пока он видит сон, есть маньяк и параноик, истинный же маньяк «по жизни» страдает от того, что не может до конца проснуться. И если бывает неглубокий, хрупкий сон, то в этом слу- чае сон слишком глубок и всеохватен, и страдающий от такого перверсивно- го перераспределения так и не отброшен окончательно к скорлупкам и зна- чениям — персик в отсутствие персика все еще продолжает доминировать в его психике.

Кстати, значит ли это, что сны одержимого суть сплошные скорлупки, по- скольку в его случае смещение тектонических плит произошло с точностью до наоборот? Совсем не обязательно и даже, скорее всего, нет, — скорее всего, онейрическое просто сохраняет в данном случае свое доминирование в психической жизни.

Бихевиористская модель, в соответствии с которой одержимость от- сутствующим персиком легко может быть компенсирована обретением действительного персика по схеме $S - R$, пригодна для «простых существ», но в исходно человеческом случае не работает. В этом случае стимул «не распыляется» в ходе реакции и никакой эмпирический результат не ис- черпывает стимула: требуемый персик нельзя имитировать эмпирическими подделками, скорее верно обратное предположение: *он всегда еще сочнее, чем ты думаешь*.

Но для нас сейчас важнее другое следствие: в структуре бодрствования остались онейрические представительства, а может даже и целый архипелаг. Так гипотеза о сновидческом происхождении любой непосредственной, не дискурсивной истины (так же, как и одержимостей иного, непознаватель- ного рода) получает некоторое подтверждение. Ведь элементы профетизма в метафизике и идеи фикс, играющие немалую роль в развитии науки, — да и вообще озарения всякого рода, не рассматривались на предмет их воз- можного общего происхождения и родства со сновидениями. Но некоторые

общие черты никто не станет отрицать. Это принудительность, необсуждаемость, данность как бы извне или как бы свыше. А в остальном...

В остальном — ничего общего. В остальном сон — это сон, нечто смутное, едва различимое, тут же забывающееся. Напротив, озарения и просветления выглядят яркими, незабываемыми, крайне далекими от сонного состояния: большинство склонно описывать их как максимум бодрствования.

Но теперь есть возможное объяснение столь очевидной разницы в интенсивности, и это как раз разлом и сдвиг тектонической плиты. Большая часть платформы онейрического оказывается теперь под спудом или, лучше сказать, затопленной. Поскольку субъект засыпает теперь «на самом интересном месте», то на долю бодрствования приходится лишь скучное место обыденности с принадлежащими к нему занятиями: перемывать косточки (руморология), сомневаться, в поте лица добывать хлеб свой — ну и, не в последнюю очередь, выстраивать порядок идей в соответствии с порядком вещей, что было бы весьма проблематичным, не случись тектонического сдвига.

Да, сновидения почти не участвуют в преобразовании мира, но, что называется, «вьется в тесной печурке огонь», и там, где онейрическому сознанию удастся выбиться на поверхность, оно демонстрирует, чем могла бы быть вся наша повседневность.

Еще ряд следствий и соображений. Феномен сна предстает как противоречивое единство, в котором сошлись, но не взаимоуничтожились явления с противоположными знаками. Само выражение «как во сне» принципиально двойственно. С одной стороны, оно означает отключенность, все сигналы словно обложены ватой, и соответствующие эпитеты для описания такого состояния хорошо известны: «вялый», «сонный», «квельый». Но с другой стороны, выражение «как во сне» означает удивительную отчетливость, яркость трансляции, соединенную с ее герметичностью, — и невозможность коррекции. Прямо-таки «бодливой корове бог рог не дает»: какое счастье, что сон — всего лишь сон, и какое несчастье тем, для кого это не так, для кого онейрическое приобрело слишком большую власть над бодрствованием.

Очевидно также, что океан сновидений обладает множеством подводных течений, ему свойственна многократность использования в универсуме психической жизни. Платформа онейрического затоплена, но она не похожа на ровное морское дно, и кое-где она выходит наружу, не только как

острова в океане, но и в самых что ни на есть эпицентрах бодрствования. Есть и течения альтернативного хронопоззиса — это вторично опустившаяся, подводная динамика недопрожитых жизней, и многое зависит от того, какой батискаф использовать для исследования нашего океана: можно и психоаналитический, и тогда его датчики расскажут о символической работе сновидений. Но, допустим, нас прежде всего интересуют онейрические площадки, выходящие на поверхность, в топографии текущей жизни Льюис Кэрролл характеризует каждую из них как «слишком странное место». Такие площадки могут быть адаптированы к реальному и не разрушительны только в случае их *обсуждаемости*.

Таким образом, вырисовывается топография присутствия, действительно близкая к декартовскому *ego cogito*, и все же отличающаяся от него. Выделяется инстанция речи, речи как обсуждения с неизбежной аурой сомнения, которое никогда не угасает. Даже если была бы достигнута несомненность относительно всех важнейших истин, статус сомнения все равно остался бы тем же, — иначе онейрическая платформа поднимется со дна океана не отдельными островками, а заполнит весь континуум присутствия маниакальными состояниями наяву. То есть сомневаться следует не только и не столько ради грядущей несомненности как конечной цели, сколько для подтверждения жизнеспособности самой практики сомнения, которая должна быть всегда наготове, как меч в ножнах.

При этом прорывающиеся на поверхность бодрствования гейзеры онейрического (можно ведь использовать и такую геологическую параллель) не могут быть просто замурованы. Обустроенные на местах прорыва площадки резонанса, где сохраняется логическая связность, в принципе способны имитировать нормальность, но упускают ключевые точки присутствия. Ведь проступающее и прорывающееся онейрическое как раз и образует экзистенциальное измерение, предмет эксклюзивной заботы, вечный предмет как раз самых важных речей и обсуждений. В каком-то смысле «жизнь вечная» тоже есть персик в отсутствие персика, но такова же и *истина*, которая не может быть строго нейтральной, — ибо что тогда будет к ней влечь, что будет всякий раз заставлять предпочесть ее консенсусу, компромиссу, а то и просто удобной лжи?

Достойная человеческая жизнь немислима без возможности *это знать* и говорить об этом, то есть вести содержательные речи. И тут каждый раз

решается внутренне противоречивая задача: необходимо устранить всякую сомнительность, но так, чтобы ее место не заняла необсуждаемая немая несомненность. Впрочем, в силу самой природы речи такая опасность нам всерьез не грозит, пока мы имеем дело с человеком говорящим и со всем репертуаром его языковых игр.

Итак, внутри обширной территории бодрствования проступают или проявляются площадки частичной одержимости — одержимости в лучшем смысле слова. Однако для того, чтобы этот лучший смысл сохранялся, само слово непременно должно быть, и даже целая речь, будет ли она внешним кругом обсуждения или внутренним кругом сомнений. Необсуждаемые площадки голого онейрического — это уже не островки частичной одержимости, а кратеры паранойи — зоны тотальной одержимости.

Таким образом, онейрическое способно не только воздействовать на сознание из глубины, как бессознательное, выступая в качестве скрытой доминанты поведения и аргументации (Фрейд называл это рационализацией), оно также имеет собственные резервации прямо на территории сознания, и там царит вечный праздник персика в отсутствие персика (или девушки в отсутствие самой девушки). Обсуждение может ходить вокруг да около, но *это* — не обсуждается, а только транслируется напрямую. Такова принципиальная неоднородность рельефа реального (скорее в смысле Гегеля, чем Лакана).

Однако и внутри «воздушно-речевой» стихии, никак не соприкасающейся с онейрическим, есть свои резервации, являющиеся устойчивыми центрами обсуждения, — как бы обсуждения на ровном месте, без соприкосновения с экзистенциальным архипелагом присутствия. Возникает соблазн сопоставить эти зоны тоже с особой формой психического расстройства, в данном случае, с шизофренией. Если очаги необсуждаемого, снов наяву, транслируют одержимость параноидального типа, то здесь мы видим именно упрямое резонерство на ровном месте, действительно схожее с клинической картиной шизофрении.

Что ж, для предельных случаев такого рода можно, пожалуй, говорить и о шизофренической территориальности, но в целом это лишь шизотенденции, имманентные познающему сознанию и трансцендентальному субъекту Канта. А в идеале научной рациональности должно быть достигнуто полное отмежевание от онейрического, что, в сущности, совпадает с «объективностью», хотя и там остаются рудиментарные требования актуальности.

Проблематика зон, «парящих» над архипелагом экзистенции, над интересами и даже над идеологией — это в значительной мере проблематика иносказания². Ее хочется интерпретировать как «желание самого разума», хотя это, конечно, не ответ на вопрос: откуда берутся все эти «завихрения».

Безусловно, без них не представима наука, но она не представима и без фетишизма истины, а в своих движущих силах также и без борьбы за признанность, то есть без интересов Я. Но эти интересы чистого разума отсылают к начальному тезису Аристотеля: «все люди от природы стремятся к знанию» — тогда их можно рассматривать даже как более древние, просто прикрытые в свое время плитой онейрического сознания, как «когнитивные рефлексy» адаптивного характера, утратившие адаптивность в связи с неожиданно изменившейся локализацией.

С другой стороны, все дело, быть может, в эффекте критической массы, в феномене «уже сказанного», которое теперь во что бы то ни стало требует продолжения. О чем бы ни шла речь, речь должна идти и должна длиться, а не останавливаться: тут мы имеем дело с самыми базисными принципами всего наличного репертуара языковых игр. Похоже, что возникающие сотрясения воздуха в виде чистой болтовни вполне способны детерминировать некое человеческое бытие, вообще не прибегая к онейрическому.

Якобы сон — 2

Можно ли каким-нибудь образом говорить о возвращении онейрического по аналогии с возвращением вытесненного? Если выступающие островки или оазисы внутри территории штатного бодрствования перестанет обдувать «ветерок обсуждаемости», или если океан сновидений обмелеет (хроническое расстройство сна), мы, вероятно, будем иметь дело с уклонением в сторону безумия. Но это не единственный способ возвращения затопленного. Вот что Борис Гройс пишет о кино:

«...движение кинообраза замещает движение мысли и языка. Зритель застывает не только физически, но и духовно, он, как говорится, захвачен фильмом или, как говорил Делез, зритель превращается в духовный автомат. В этом отношении посещение кинопросмотра больше всего напоминает

архаические аскетические практики чистого созерцания. От видений, которые являются застывшему в неподвижности аскету, в его памяти остаются отдельные образы, канонизируемые позднее в качестве икон, или отдельные слова, функционирующие позже как молитвы, однако, в целом, они остаются, если можно так сказать, непредсказуемыми. Сегодняшний зритель — аскет XX века — также оплачивает свое видение безмолвием. В известном смысле мы никогда не говорим о фильме как таковом, так как должны молчать во время его демонстрации. Вместо этого мы постфактум говорим о своих воспоминаниях о фильме, то есть приблизительно так, как во время психоаналитического сеанса пересказывают и интерпретируют сновидение. Не случайно столь влиятельным в контексте изучения фильма был и остается психоанализ. При этом психоанализ фильма практикуется не без известного пренебрежения по отношению к пассивному зрителю. Парадоксальным образом фильм возник и развивался как раз тогда, когда активная, прагматическая, креативная ориентация могла праздновать свой самый большой идеологический триумф, в контексте современного теоретизирования от Маркса и Ницше и до сегодняшнего дня, практика однозначно предпочитается чистому созерцанию. Истину жизни ищут более не в философском созерцании, а в динамике жизни, в политической практике, в теле, в сексуальном желании, в спорте, в борьбе (наций, классов, рас и поколений), но в каждом из этих случаев — в материальной, телесной реальности, а не в пассивном созерцании идеального, квазиспиритуального мира духов. Соответственно этому, традиционный кинофильм воплощает в эпоху модерна ту пассивную, созерцательную установку, которую прежде считали высшей формой жизни, а ныне считают жалким миром иллюзий»³.

Чистое созерцание, безусловно, не обходится без экспрессии онейрического, и хотя называть чистое созерцание разновидностью сна наяву никогда не хотелось по идеологическим соображениям (ибо его практиковали как раз те, кто и контролировал дискурс метафизики), но все же родственных моментов тут можно усмотреть достаточно.

Ну а кино? И здесь общность со сном по интересующему нас параметру указана точно: темный зал, неподвижность, захваченность, никаких комментариев по ходу зрелища. Еще более вдумчиво отмечает это важное обстоятельство Кристиан Метц:

«Если сновидение предполагает сон, то еще и потому, что сон приостанавливает любое действие, блокируя, тем самым, моторную разрядку, которая, напротив, постоянно доступна в состоянии бодрствования и в значительной мере противодействует регрессионности, поглощая мускульной активностью любые виды возбуждений, которые в противном случае устремляются к перцептивному, как это и происходит в сновидении.

Фильмическая ситуация содержит в себе некоторые элементы, подавляющие моторность, и в этом смысле она является как бы слабым сном, бодрствующим сном»⁴.

Онейрическое сознание уцелело в рамках нормальной психики благодаря тому, что была «подавлена моторность» и огонь был загнан в тесную печурку, то есть сновидение — это как бы единственно возможный основополагающий компромисс нормальной психики и онейрического сознания. А кино? В какой мере и оно основано на тех же принципах компромисса, что и сон? Параллели буквально напрашиваются, тем ценнее продуманные предостережения, о которых говорит К. Метц:

«Между логикой самого абсурдного фильма и логикой сновидения всегда сохраняется одно различие, состоящее в том, что в сновидении удивляющее не удивляет и, следовательно, в нем нет ничего абсурдного. Отсюда, собственно, и берется то чувство удивления и возникает впечатление абсурдности, когда мы просыпаемся»⁵.

Удивляющее не удивляет потому, что онейрическое в себе монотонно, а лучше сказать, мономаниакально, у него нет внутренних различий между реальным и воображаемым, иначе какой вообще был бы смысл говорить о персике в отсутствие персика? Ведь абсурдное должно быть таковым по отношению к чему-то *не абсурдному*, вот и у Льюиса Кэрролла Алиса попадает в *странное место* потому, что все другие места «какие-то уж очень не странные», а поскольку монолитная онейрическая платформа не делится на странную и «не странную» части, то Метц, конечно, прав. Далее он пишет:

«История сновидения — это чистая история, история без повествования, проявляющаяся беспорядочно и неотчетливо, история, которую не программирует никакая нарративная инстанция, история ниоткуда, история, которую никто никому не рассказывает»⁶.

Отталкиваясь от идеи хронопоэзиса, нетрудно заметить, что сновидение, как и онейрическая формация в целом до своего погружения в обездвиженность, имеют простую архаическую темпоральную структуру. Справедливо подмеченное отсутствие нарративности (история вроде бы и есть, но ее никто никому не рассказывает) — и это нам кое-что напоминает. Что же? Ну, например, весну, которая, каждый раз врываясь, знаменует себя цветением, нерестом, любовным трепетом — и не создает архива. Ей нет дела до прошлой весны, как сегодняшней метели нет дела до прошлогоднего снега. Онейрическая стихия во многом похожа на такие автономные, не подлежащие присвоению большие регулярности, но и существенно отличается от них. Но еще больше она отличается от перемещенных в символическое миров, от дискурса символического, поскольку в ней нет повествования и, следовательно, нет повествовательного прошлого. Вот еще достойные внимания соображения Метца:

«Психолог Рене Заззо, основываясь на известном замечании Фрейда, совершенно справедливо утверждал, что явное содержание сна, если бы оно было буквально перенесено на экран, оказалось бы совершенно недоступным для понимания. Действительно недоступным, добавлю я (что встречается крайне редко). Но не так, как бывают непонятны авангардные или экспериментальные фильмы, искушенные зрители которых знают, что их следует одновременно понимать и не понимать и что не понимать их — на самом деле лучший способ понять, а совершать усилия чтобы понять было бы в высшей степени непониманием и т. д. Эти фильмы, объективная социальная функция которых — по крайней мере, в некоторых случаях, состоит в том, чтобы удовлетворять отчаянное желание быть наивным, свойственное некоторым интеллектуалам, — интегрировали в свой конституциональный режим понятности определенную дозу элегантно и регламентированной непонятности, так что сама их непонятность оказывается в результате понятной. Здесь опять речь идет о жанре, и вдобавок о таком, который показывает противоположность тому, что сам хотел бы показать, он открывает то, насколько тяжело для фильма достичь подлинной абсурдности, чего самые обычные наши сны, по крайней мере в некоторых эпизодах, достигают сразу и без особых усилий. И, наверное, по этой же самой причине почти всегда так мало правдоподобны те “эпизоды со сновидениями”, которые иногда фигурируют в нарративных фильмах»⁷.

С этим стоит разобраться. Сновидения абсурдны не в силу нонсенса, не потому, что в них не соблюдается логика и прочие нарративные правила, а потому что они лежат в досмысловом горизонте и не предназначены для понимания. Чтобы испытать ощущение абсурда, нужно проснуться. Или нужно, чтобы онейрические атоллы, выступающие из океана, начал обдывать ветерок обсуждения с порывами удивления и сомнения. Пока мир, в котором мы живем, кажется абсурдным, мы еще вменяемы, хотя повышение квоты абсурда, — безусловно, опасный симптом. Тем не менее, если мир предстает абсурдным, значит — я есть, хотя, быть может, мое бытие под угрозой. Это пограничное состояние, и в силу этого оно принадлежит к экзистенциальному измерению, к самой его сердцевине. Тут легко узнается основополагающая озабоченность Декарта: а что если Бог — великий и коварный обманщик? И делается вывод: по крайней мере, в этом случае я есть. Можно еще добавить: и абсурд тому свидетель.

Уже понятно, что из подобной развилки возможен двоякий исход: бесперебойная инсталляция онейрической платформы, безумие в форме паранойи — это один путь. И другой — полный отлет от всех персиков в отсутствие персика, от всего архаического и трансперсонально укорененного — это путь к шизофрении с ее окончательной расщепленностью, с утратой привилегированной центрации Я. Впрочем, существует и мирный выход, избираемый большинством смертных: останавливать обсуждение на дальних подступах к идее фикс, к персональному потайному персику, но зато на этих безопасных рубежах получать все доступное удовольствие от разговора.

Сон и его вклад в рельеф реального

На эту тему остается сказать еще несколько слов — и вот они. Как-то незамеченным остался тот факт, что у сна решительно отняли все качества реальности. Само «реальное», начиная как минимум с Декарта, определяется в противоположность сну: сознание есть абсолютное бодрствование, а реальность есть то, что дано именно такому сознанию. Одновременно только этому состоянию *ego cogito* приписана *самосохраняемость*: «во сне меня чудесным образом сохраняет Бог» — говорит Декарт.

Помимо всего прочего, здесь перед нами феноменологический коррелят очень важного социального и даже экзистенциального запроса: необходимо

задать границы присутствия, которые были бы принципиально локализованы в дисциплинарном времени. Реальность локализована среди этих вещей, этих занятий — и даже если они ничего не дают тебе, кроме скуки и депрессии, прими их, ибо такова реальность!

На первый взгляд, что тут можно возразить? Кое-что все-таки можно. Так, грань полноценного присутствия, которая прежде располагалась между снами вещными и пустыми снами, сдвинулась вверх, в результате чего в разряд «пустого» попали все сны вообще и все сновидческое, что может быть запозрено в этом качестве в яви. А это, в свою очередь, означает, что в единственный, объявленный реальным мир должен быть пробужден и «вызван» именно тот, кто нужен. Задумавшись над этим обстоятельством, можно припомнить и тезис Левинаса, связывавшего сознание с возможностью отключения Зова, — и Будду как *пробужденного правильным пробуждением*. Кроме того, можно указать и на охранительную роль всех измененных состояний сознания, имеющих общую онейрическую родину: они обеспечивают уклонение от самого навязчивого наваждения — наваждения повседневности.

Конечно, главной причиной «ирреальности» сна является его несообщаемость. Как бы глубоко ни затрагивалось сном или другим онейрическим состоянием все наше существо, но невозможность транслировать его другому и другим с хоть сколько-нибудь гарантированным опознанием делает сон *всего лишь* сном. Как тут ни вспомнить о великой привилегии *смысла*, который не просто подлечит трансляции, но и во время трансляции приумножается и возрастает! Реально все то, по поводу чего возможно общение без утери или подмены предмета, — поэтому разговор о сне реален, а сам сон, увы, нет. С этим же обстоятельством связана и привилегия кино: оно потому не *просто сон*, что о нем можно говорить, время от времени прибегая к указательному жесту — «а вот!», поэтому любое кино, даже самое плохонькое, не менее реально, чем стол или сыр. Сон, по своему воздействию на сновидца, способен превзойти всю кинематографию мира, но он реален лишь тогда, когда становится обсуждаемым, для чего требуется внешнее подкрепление. Например, то, что это — сон фараона. Или сон Сергея Панкеева, человека-волка — он обретает статус фильма, то есть реального, благодаря прекрасной режиссуре Фрейда.

Но если ты не фараон, твой сон не повинуется указательному жесту: по просту говоря, он именно несообщаем как сон. В этом отношении сон отличается не только от кино или живописного полотна, но даже и от рассказа

о вкусном ужине, на котором ты не присутствовал: там-то все равно можно опереться на опыт. Но чужой сон именно отторгается и отчуждается как чужой; он не только ничему не соответствует, но и вступает в противоречие с собственным сном или снами. Другое дело — значение сна, его разгадка, тут возможна авторизация, и в этом случае сон есть предмет, вполне пригодный для разговора. Но это Фрейд несколько наивно думал, что сновидец ничего так не желает, как знать «разгадку» своего сна, да еще и в определенном ключе, — куда больше сновидец желает транслировать свой сон с минимальными искажениями и, тем самым, произвести впечатление. Разве не отчаянным воплем души и, одновременно, проявлением мании величия было требование престарелой Лилии Брик «пересмотреть все мои сны за последние тридцать лет»?

Но, как уже отмечалось, «бодливой корове бог рог не дал»: сам сон как модальность души уже означает перекрытие онейрического сознания и его погружение в разобщенность. Стоит только представить себе, что было бы, если бы сновидения, сохраняя ту же степень воздействия, которую они имеют на сновидца, могли бы еще проецироваться в общее поле восприятия, подобно фильмам! О каком *ином* искусстве вообще можно было бы тогда говорить?

Однако именно в этом случае есть смысл воспользоваться дихотомией ближайшей и далекой причинности: ближние причины, которые причиняют, обуславливают нечто очевидно из них вытекающее, делают это лишь потому, что нечто далекое, но решающе важное вытеснило их сюда. И вот фильм как непосредственный предмет разговора, обсуждения. Обсуждается в нем то, что доступно обсуждению, однако это необязательно то, что *впечатлило*, — например, в силу тайного родства с нашими снами, которые нельзя предъявить напрямую. То есть онейрические состояния все же как-то проходят через иноприсутствие и иносказание — не будь этого, искусство, возможно, потеряло бы большую часть своей силы...

Якобы сон — 3

Можно, пожалуй, предположить, что тенденции будущего различны в отношении кино и в отношении атоллов онейрического. Кино все более теряет моделируемый характер онейрического, проецируясь слишком часто. Подключение к этой трансляции совершенно перестает иметь статус чего-то

чрезвычайного, транслируемые «визуальности», напротив, образуют самые привычные интерьеры реального как будничного по преимуществу. Расширение ассортимента вроде бы помогает найти нечто более или менее близкое «своему онейрическому», но одновременно неизбежная приблизительность зрелища заглушает глубинный зов персика в отсутствие персика. С каждым шагом кинематографа все легче становится принять чужой фильм за собственный сон.

Что же касается онейрических площадок внутри реального, то они с недавнего времени оказались изрядно подтоплены. Скажем так: наши одержимости в целом пошли на убыль. Заметно улетучился пафос истины, что, разумеется, сказалось на характере метафизики или того дискурса, который теперь ее замещает. В Америке, а теперь и в Европе удалось синтезировать обезвреженную метафизику, достойную наследницу и восприемницу безалкогольного пива — для этого всего-то и нужно было поднять уровень воды и насыпать искусственные острова вместо прежних, поднимавшихся с самого дна атоллов...

Казалось бы, в таких условиях обсуждаемость и практика сомнения должны цвести пышным цветом — ведь прямых онейрических демонстраций становится все меньше. Однако в условиях отсутствия прямого онейрического представительства, экзистенциального заказа, нашего манящего персика, оказалось куда легче подменить предмет спора и предмет сомнения. Новейшая академическая философия уже ничего не делает как во сне, и благодаря этому она стала удивительным искусством — искусством мнимой озабоченности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Оленев Ю.* Сновидящее сознание в русской литературе XIX века. Дипломная работа.

² *Секацкий А.* Иносказание / Секацкий А. Размышления, СПб., 2014. С. 51–76.

³ *Гройс Б.* Комментарии к искусству. М., 2003. С. 157–158.

⁴ *Метц К.* Воображаемое означающее. СПб., 2010. С. 141.

⁵ Там же. С. 147.

⁶ Там же. С. 151.

⁷ Там же. С. 146.